

Марк Соколянский

ОБЩИЕ КОРНИ

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ И ИСААК БАБЕЛЬ

Сопоставительный подход к личностям и творчеству этих двух писателей может показаться на первый взгляд совсем неожиданным, а то и просто экстравагантным. Начать с того, что обладатели вынесенных в подзаголовок имен принадлежали к разным поколениям: Бабель пребывал еще в отроческом возрасте, когда Жаботинский был уже самым видным публицистом юга России; спустя годы Бабель стал всемирно знаменитым писателем, а Жаботинский-литератор был почти напрочь забыт даже на его родине. По своему семейному происхождению эти авторы располагались на разных ярусах одесско-еврейской буржуазной среды. К тому же замечание об *одесском* детстве в полной мере может быть отнесено лишь к Жаботинскому, тогда как Бабель с младенческой поры и до одиннадцати лет прожил с родителями в Николаеве. С психологической точки зрения, казалось бы, трудно подыскать более резко отличавшиеся друг от друга типы: легко воспламенявшийся, не чуждый романтических порывов, человек открытой жизненной позиции Жаботинский и будто в русле ветхозаветной традиции «мудро хранивший своё знание» о жизни и человеке, проникательный, но далеко не всегда откровенный Бабель.

Что касается их жизненных линий в зрелые годы, то они были, можно сказать, диаметрально противоположными. Воодушевлённый идеями сионизма, В.Жаботинский стал одним из его лидеров, возглавив впоследствии радикальное крыло в этом движении. Более четверти века отдал он, главным образом, делу создания независимого еврейского государства, прожив вторую половину своей жизни за пределами России, ставшей к тому времени советской. Об отношении Бабеля к сионистскому движению мало что известно, хотя есть скудные сведения о том, что в студенческие годы он как будто проявлял интерес к идеям сионизма¹; во всяком случае, этот интерес никак не отразился на главном содержании его жизни — литературном творчестве.

Трудно предположить, как могла бы сложиться жизнь Бабеля в молодости, если бы его не подхватил ветер бурных перемен, пронесшийся по бывшей Российской империи. Так, в 1917 г., ещё в ходе первой мировой войны, успел он побывать солдатом на румынском фронте, потом оказался в красном стане в годы Гражданской войны, работая в ЧК и Наркомпросе, воюя в Северной армии против Юденича, а с апреля по сентябрь 1920 г. служа в политотделе Первой Конной армии Будённого и публикуя в газете «Красный кавалерист» статьи под псевдонимом «К.Лю-

тов». Служба Бабеля в ЧК и причастность к идеологическому ведомству новой власти, числившей сионизм в списке заклятых неприятелей Советского государства и пытавшейся, в частности, скомпрометировать лично Жаботинского², — достаточно яркий пример того, насколько резко расходились пути двух литераторов, уроженцев Одессы. Да и по своему отношению к веяниям времени и общественной борьбе «К.Лютов» менее всего походил на «еврейского Гарибальди», как называли Жаботинского в годы первой мировой войны в английских газетах.

Личных контактов между Жаботинским и Бабелем в их родном городе не было, да и быть не могло. Детство автора «Конармии» прошло в Николаеве, а когда его семья вернулась в Одессу в 1905 г., Жаботинский уже не проживал постоянно в черноморском городе, бывал в нём лишь наездами, задерживаясь там иногда несколько дольше обычного, как, например, в 1911 г.; кстати, с того самого года Бабель уже жил и учился в Киеве. Не могли они по времени пересечься и в Санкт-Петербурге (Петрограде). Впрочем, одна-единственная встреча между ними всё же могла состояться, и более того — Бабель оставил о ней свидетельство, а выражаясь терминологически точно — *показание*.

Осенью 1939 г., будучи репрессированным, Бабель на очередном допросе сделал, среди прочих, и такое признание: «...Из антисоветских моих встреч в Париже я должен упомянуть о свидании с Жаботинским, руководителем фашистского крыла сионистской партии. Свидание это состоялось на квартире моего друга детства, известного сиониста Иосифа Фишера. В самом начале беседы Жаботинский поразил меня заявлением, что пролетарскую революцию в СССР он считает «явлением неинтересным», и перешёл к положению еврейских масс в СССР, очень интересовался процессом ассимиляции евреев, национальными школами, судами, театрами и советской еврейской литературой. Помню, я рассказал ему о быте евреев в СССР, ничем не отличающемся от условий жизни всех граждан СССР. Он презрительно фыркнул и ушёл, пробыв у Фишера недолго, около часу. Мне довелось увидеть его ещё один раз на трибуне публичного сионистского собрания, где Жаботинский делал доклад о том, что еврейский рабочий в Палестине не имеет права бастовать ни при каких условиях и что всякая попытка к забастовке должна быть подавлена оружием. Собрание это закончилось грандиозным побоищем с инакомыслящими. Было много раненых, полиция очистила помещение — больше я Жаботинского не видал...»³.

Трудно прийти к твёрдому заключению, что соответствовало истине, а что было наговором в этом тексте, по стилю напоминающем скорее литературный очерк, чем показание арестанта. В Париже Бабель бывал несколько раз: в 1927-1928 годы, в 1933 г. и, наконец, в 1935 г., когда в составе делегации советских писателей он принимал участие в работе антифашистского международного Конгресса писателей в защиту культуры.

При сопоставлении этих дат с известными фактами жизнедеятельности Жаботинского в те годы, можно предположить, что, вероятнее всего, такая встреча могла состояться летом 1935 г. Виделся ли Бабель с «другом детства» Иосифом Фишером — действительно, видным сионистом? Вполне вероятно. Был ли тогда у Фишера Жаботинский⁴ и пошёл бы достаточно осторожный при всей своей любознательности автор «Конармии» на такую рискованную встречу?!

Для совершенно точного ответа на такой трудный вопрос одного процитированного выше «документа», вероятно, недостаточно. Тем более не так уж легко поверить, что член делегации советских писателей, вряд ли свободный от «ощущения слежки»⁵, действительно посетил в Париже «сионистское собрание». Да и краткое описание этого собрания не слишком убедительно: резкая дискуссия, безусловно, могла быть и, скорее всего, была на самом деле, но упоминание о «многих раненых» отдаёт чрезмерной драматизацией события.

С другой стороны, безудержно-пропагандистское определение возглавлявшегося Жаботинским ревизионистского крыла в сионизме как «фашистского»⁶ даёт основания предположить, что показания давались Бабелем под сильным давлением, если вообще не под диктовку следователя, а такая тенденция была, как известно, очень типичной для практики *тружеников* Лубянки. К тому же, когда создатель «Конармии» и «Одесских рассказов» был в Париже в последний раз, Жаботинский уже принял решение об окончательном разрыве с руководством Всемирной Сионистской Организации и был вплотную занят подготовкой к учредительному съезду т. н. Новой Сионистской Организации, состоявшемуся сразу после XIX Сионистского конгресса, в сентябре 1935 г. в Вене. Бабель же по возвращении в СССР вряд ли имел доступ к информации о результатах дебатов на Сионистском конгрессе в Люцерне (с 20 августа по 4 сентября 1935 г.) или сентябрьской попытке создания новой организации в Вене и уж тем более — не задумывался всерьёз над размежеванием сил, проходящим в мировом сионистском движении. Словом, пока процитированное выше показание не получит вполне объективного подтверждения, ему как источнику, наверное, не следует придавать решающего значения; хотя повышенный интерес биографов Бабеля к этому эпизоду понятен и абсолютно закономерен.

В рамках литературоведческого рассуждения, пожалуй, более значительными представляются другие, пусть отдельные и не столь уж многочисленные факты сходства их писательских личностей и судеб. К примеру, оба автора отличались недюжинными способностями к языкам. В. Жаботинский был настоящим полиглотом, активно пользуясь в своей общественно-политической деятельности семью-восемью языками. Бабель, оперируя сызмальства языком идиш и, разумеется, русским, в детстве учил и древнееврейский, мог объясняться и читать по-украински и по-

немецки; французским же овладел настолько хорошо, что пятнадцати лет от роду начал писать рассказы на французском языке, а, бывая впоследствии во Франции, никогда не нуждался в переводчике.

Известно, какую важную роль сыграл в писательской судьбе Бабеля Максим Горький, впервые опубликовавший в журнале «Летопись» его ранние рассказы, отправивший молодого литератора «в люди», а позднее вступившийся за автора «Конармии», грубо обруганного С.Будённым в скандально известной заметке «Бабизм Бабеля из «Красной Нови», появившейся в 1924 г. в «Октябре». В 1930-е годы. Бабель часто встречался с вернувшимся в Россию писателем, бывал у него дома в Москве. Жаботинскому не довелось лично встречаться с Горьким, однако известны в высшей степени комплиментарные отзывы последнего о поэзии Хаима-Нахмана Бялика, чьи стихи читал он в русских переводах В.Жаботинского, да и о самом переводчике знаменитый русский писатель отзывался однажды как об «удивительно интересной» личности в литературе⁷.

В свою очередь, Жаботинский разделял распространённое тогда увлечение ранним творчеством Горького. Будучи совсем молодым человеком, написал он в один из римских ежемесячных журналов «довольно большую» статью о т. н. «литературе настроения» в России, опираясь на факты творчества Чехова и Горького.⁸ Впрочем, в литературных пристрастиях обоих писателей-одесситов можно найти немало общих имён и названий. Вспомним хотя бы восторженное отношение Бабеля к поэзии Франсуа Вийона; своего друга Эдуарда Багрицкого он называл «Франсуа Виллон из Одессы»⁹. Жаботинский не только любил средневекового французского поэта, но и оставил интересный перевод его «Баллады состязания в Блуа».¹⁰

Главной же их общностью был, конечно, родной город — почва, на которой оба они выросли и сформировались как литераторы. В этом городе отыскиваются их общие — воспользуюсь выражением Б.М.Эйхенбаума — «корни творчества». Одесса была для Бабеля, как и для Жаботинского, не только благодатной почвой, питательной средой, но и тем живительным источником, из которого черпались темы, сюжеты, человеческие типы. Сыновнего, нежного отношения к Одессе оба писателя никогда не скрывали.

В 1916 г. Бабель написал очерк «Одесса», где создал мозаичную картину своей *малой родины* — «единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан» (15). Любовью к городу пронизаны и его «Листки об Одессе», не говоря уж о новеллах и драматургии писателя. Будучи старше Бабеля на четырнадцать лет, В.Жаботинский объяснился в любви своему городу позднее — в 1930-е годы. В автобиографической «Повести моих дней» он назвал Одессу «одним из трёх факторов, которые наложили печать свободы» на его детство¹¹. Восторженный, хоть и глубоко личный панегирик родному городу находим

в последней главе («L'Envoi») романа Жаботинского «Пятеро» — позднего произведения писателя. «Я не к одной только России равнодушен, — признавался не имевший тогда постоянного места обитания автор, — я вообще ни к одной стране по-настоящему не «привязан»; в Рим когда-то был влюблён, и долго, но и это прошло. Одесса — другое дело, не прошло и не пройдёт...»¹².

В литературном наследии Бабеля большое место занимают произведения, местом действия в которых является Одесса. Помимо цикла «Одесские рассказы», это ещё добрый десяток новелл, пьеса «Закат», киноповесть «Беня Крик», несколько автобиографических очерков. Что касается Жаботинского, то, оставив пока в стороне страничку из «Повести моих дней», ранние фельетоны и рассказы, нужно указать на главную его книгу, связанную с Одессой; это роман «Пятеро».

Несмотря на очень несхожий жизненный опыт и разные сферы бытования двух авторов в Одессе, иногда их внимание привлекают одни и те же достаточно конкретные, причём отнюдь не самые хрестоматийные объекты в родном городе. Такова, например, «Литературка» — Одесское Литературно-Артистическое общество, основанное в 1897 г., а с 1899 г. вплоть до закрытия в 1904 г. собиравшееся в бывшем доме князя Гагарина¹³, где в настоящее время располагается Одесский Литературный музей. На пороге XX века Владимир Жаботинский, более известный в Одессе как фельетонист «Одесских новостей» по его литературному псевдону — «Altalena», был активным участником диспутов в «Литературке», выступал на заседаниях общества с рефератами. Бабель принадлежал к иному поколению: ему было всего-то десять лет, когда «Литературка» прекратила своё яркое, но недолгое существование, и будущий писатель имел возможность узнать о ней лишь из рассказов старших собеседников-одесситов. При этом оба писателя в своей прозе не прошли мимо такого заметного явления в культурной жизни Одессы и всей Новороссии.

Свой первый «Листок об Одессе» Бабель начал с упоминания о Литературно-Артистическом обществе, рассказывая о нём в настоящем времени, хотя «Листок» датирован 1916 годом. Знаяший «предмет» не понаслышке, В.Жаботинский вспомнил о «Литературке» в своей автобиографии «Повесть моих дней», а в романе «Пятеро» посвятил ей целую главу (третью), которую так и назвал — «В “Литературке”». И здесь есть абзацы, продиктованные ретроспективным взглядом на Одессу и своеобразное сообщество творческих людей города на пороге XX века. Совпадение интересов не совсем случайное: яркая точка на карте и в культурной истории любимого города притягивала к себе обоих писателей.

Кроме места действия, многие произведения Бабеля об Одессе и роман Жаботинского «Пятеро» роднит общее описываемое время. В широком смысле это начало двадцатого столетия, отмеченное такими событиями, как общественные волнения и подъём 1905 г., восстание на

броненосце «Потёмкин», еврейские погромы на юге Российской империи, создание еврейской самообороны, формирование своеобразного «сословия» налётчиков на одесской Молдаванке и пр. и пр. Лишь действие нескольких рассказов Бабеля об Одессе («Карл-Янкель», «Фроим Грач», «Ты проморгал, капитан!», «Конец богадельни») происходит в послереволюционные годы. Если говорить об исторической событийности у Бабеля, то можно вспомнить описание погромов в рассказах «История моей голубятни» и «Первая любовь»; хотя действие этих новелл происходит не в Одессе, а в Николаеве, но описанные в них погромы принадлежат к той же волне, начавшейся с Дубоссарских и Кишинёвских событий 1903 г., затем прокатившейся по всему Югу и включавшей одесский — самый страшный по своему размаху¹⁴ — погром 1905 г.

Кстати, одесский погром вспоминается и в «Одесских рассказах», в частности, в рассказе «Как это делалось в Одессе», а прозвище старшего Крика «Мендель Погром» (рассказ «Закат») красноречиво говорит об актуальном историческом опыте изображаемого круга персонажей. В романе «Пятеро» уже в силу более широких жанровых возможностей время действия очерчено подробнее: и восстанием на «Потёмкине», и погромными настроениями в Одессе, и созданием еврейской самообороны, и охранительными функциями «дворницкого сословия» в период, чреватый революционными выступлениями, и т. д.

Помимо общности места и времени действия, тематические сходения в книгах Бабеля и Жаботинского были предопределены и одесско-еврейским *milieu*, к изображению нравов которого тяготели оба писателя. Правда, круг общения популярного журналиста — повествователя в романе «Пятеро» — слабо соотносится с бабелевской Молдаванкой, и тем не менее отдельные точки пересечения, несомненно, имеются.

В романе Жаботинского «Пятеро» есть глава под названием «Мир делов», где содержатся лаконичные зарисовки нескольких состоятельных «хлебников»-негоциантов. Нельзя сказать, чтобы все они были на одно лицо, но буржуазная респектабельность (или стремление к таковой) роднит их всех. В рассказе Бабеля «В подвале» возникает фигура «последнего из одесских негоциантов» — сверхреспектабельного банкира Боргмана, предпочитавшего английский язык русскому, регулярно читавшего „Manchester Guardian“ и «завязывавшего интрижки» с примадоннами заезжих оперных трупп. Очевидно, Боргман (в описании Бабеля) принадлежал к более высокому уровню буржуазной Одессы, нежели Мильгром-старший или его родственники-хлебники, хотя, как описано в романе Жаботинского, в то время «хлебники ещё назывались негоциантами и, беседуя, мешали греческий язык с итальянским»¹⁵.

Правда, здесь, безусловно, важен ещё и взгляд, угол зрения повествователя; автобиографический рассказчик Бабеля, происходивший «из ни-

шей и бестолковой семьи» (147), смотрел на отца своего соученика совсем иначе, чем вполне взрослый популярный фельетонист — alter ego Жаботинского-Альталены — на своих знакомых («Пятеро»), которых он даже при поверхностном знакомстве оценивал отнюдь не по толщине их бумажников, а по правильности речи и начитанности. Если Игнац Альбертович, говоривший по-русски не без акцента, и выделялся неплохим знанием немецкой поэзии, то братья Абрам Моисеевич и Борис Маврикович, несмотря на свою зажиточность, отдельными речевыми оборотами скорее похожи на колоритного, но не слишком грамотного бабелевского маклера Цудечкиса («Справедливость в скобках»). Выразительно и грамматическое оформление названия той главы, где мы знакомимся с братьями-хлебниками, — «Мир делов». Они, быть может, и не из одной компании с отцом Марка Боргмана, но порождены одним и тем же, общим milieu, где широко распространена известная шкала ценностей, которой придерживается в романе «Пятеро» Анна Михайловна Мильгром, рекомендующая популярному публицисту подумать о приобретении *настоящей профессии*.

Отмеченная польским исследователем Чеславом Андрушко «открытая еврейская тематизация одесского цикла и других связанных с ним рассказов»¹⁶ роднит прозу Бабеля с романом Жаботинского. Общее — в значительной степени — тематическое поле порождает и более частные содержательные параллели, в частности, сходные фигуры действующих лиц. Взять, к примеру, Мотю Банабака — еврея-простолюдина, приятеля Серёжи Мильгрима, из романа «Пятеро». «Банабак» — это, разумеется, прозвище, достаточно распространённое в Одессе и означающее: человек восточной внешности, чаще всего — кавказец¹⁷. В рассказе Бабеля «Фроим Грач» мадам Пескина обзывает своего мужа *Бонабаком* (Бабель пишет это слово с гласным «о» в первом слове). Но дело, разумеется, не только и не столько в прозвище. В судьбе простого, необразованного парня Моти своеобразно переплелись разные, далёкие друг от друга занятия: от участия в еврейской самообороне 1905 г. до «экспроприации» средств у состоятельных людей отнюдь не с самыми благородными целями; на одесском языке той поры такого рода «экспроприации» назывались *налётами*. На этих темах и судьбах героев снова «встречаются» два наблюдательных писателя.

Такой феномен, как *налёты* и *налётчики*, Жаботинским задет лишь по касательной; у Бабеля же это основная среда, в которой происходит действие и многих рассказов, «прописанных» в Одессе, и пьесы «Закат», и киноповести. Бенья Крик и другие налётчики с Молдаванки — специфического периферийного района Одессы, где родился и сам писатель¹⁸, — выписаны подробнее и живописнее, чем эпизодический персонаж Жаботинского Мотя Банабак. Заметим лишь, что Мотя двумя стадиями своей жизненной истории как будто объединяет две жизненные темы, затрону-

тые обоими писателями. Если одна из них — это стихия грабежа и налётов, то другая — погромы и возникшая в ту пору самооборона.

Погром как событие изображён у Бабеля обстоятельно в его «николаевских» рассказах «Первая любовь» и «История моей голубятни». Можно согласиться с Шимоном Маркишем, что трагедии, описанные в этих, «автобиографических» новеллах, носят «универсальный» характер и не замыкаются в узконациональных рамках¹⁹. Но универсальность, которую можно расценивать как результат художественного обобщения, не перечёркивает конкретики — исторической, географической, национальной. В «Одесских рассказах» о погроме говорится лишь походя. Так, в рассказе «Как это делалось в Одессе» Арье-Лейб вспоминает о Рувиме Тартаковском:

«...Однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемёт и начали сыпать по слободским громилам...»(49).

Те, кого называет старый синагогальный служка «нашими», были и налётчиками (по роду занятий в *спокойное* время), и дружинниками стихийной самообороны (функционально) в дни погрома, хотя, строго говоря, их тактикой была уже не оборона в буквальном смысле слова, а её действенная разновидность — контрнаступление. Так что Мотя Банабак, приведший, по его собственным словам, в самооборону 1905 г. «целую дружину»²⁰, а в другое время совершавший грабежи, — фигура не надуманная и, несомненно, перекликающаяся с «нашими» из необычной истории, рассказанной Арье-Лейбом.

Общий интерес к такому явлению, как еврейская самооборона, у двух писателей основывается на совершенно разном жизненном опыте, причём опыт этот достаточно причудливо трансформировался в их творчестве. Бабель был подростком, когда погромы прошли по югу России, затронув и его родину — Одессу, и Николаев, где жила более десяти лет его семья. О самообороне он знал — если не принимать слишком всерьёз детских впечатлений — из рассказов старших, и потому эта тема не заняла особого места в его прозе. Но всё же свой детский взгляд на самооборону Бабель воссоздал в рассказе «Первая любовь»:

«...Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных верёвкой. На плече, на зелёном шинурке, у меня висит негодное ружьё, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц...»²¹.

Разумеется, портрет Мирона, сына угольщика, написан не в героическом ключе, скорее — это портрет мало приспособленного к «ратному

делу», обречённого человека. Но во взгляде маленького гимназиста («учёного мальчишка») сквозит явное уважение к самой попытке таких людей, как Мирон, противостоять насилию черносотенцев и желание подражать «самооборонцам».

В.Жаботинскому было двадцать три года, когда случился погром в Кишинёве, приведший к значительному повороту в мировоззрении, жизненной позиции и судьбе молодого, вполне преуспевавшего журналиста. Он стал активным деятелем еврейской общественной жизни, с головой окунулся в сионистское движение, был одним из главных инициаторов создания самообороны в Одессе и других южных городах империи. Так что процесс формирования еврейской самообороны знал он, что называется, изнутри. Между тем, в романе «Пятеро», написанном почти тридцать лет спустя, отразился взгляд человека зрелого, много за прошедшие годы повидавшего, кое-что из ранних увлечений пересмотревшего и уже не столь наивно-романтического, как в прежние годы.

В «Повести моих дней» есть небольшая по объёму глава «Кишинёв», посвящённая участию Жаботинского в создании самообороны в Одессе. Здесь не содержится и тени сомнения в необходимости самообороны, напротив — осуждается «еврейская трусость, которая проявилась в Кишинёве»²². Есть и рассказ о первом собрании активистов одесской самообороны «в просторной и пустой комнате, похожей на торговую контору», на Молдаванке²³. Но за кратким рассказом о сборе денег и оружия, составлении и размножении листовок и т. п., следует сообщение о том, что помещение принадлежало некоему Генриху Шаевичу, агенту-зубатовцу, хотя точного представления о мотивах его соучастия в самообороне у Жаботинского не было: «Мне безразлично, был ли этот Шаевич честным и заблуждающимся человеком или шпионил и предавал сознательно: на мой взгляд, с того дня, когда он предоставил нам такое надёжное убежище, чтобы вооружить евреев, он искупил все свои грехи...»²⁴.

Эту непростую ситуацию Жаботинский изобразил и в романе, в главе «Арсенал на Молдаванке», где хозяина квартиры, в которой собираются и хранят оружие, тоже зовут Генрихом (правда, фамилия не указывается). Автор перенёс в роман и свою оценку действий зубатовца. Прочее общество, собирающееся в «арсенале на Молдаванке», весьма пестро: от «революционера» с классовым подходом к событию до абсолютно безразличного к любым социальным учениям фармацевта Козодоя, от скептически воспринимающего собравшихся фельетониста (повествователя) до недалёкого идеалиста Марко.

Что же касается самообороны как явления, то автор, как и повествователь, не сомневаясь в надобности и справедливости самого дела, довольно скептически воспринимает многих его энтузиастов. При сопоставлении подходов двух писателей к одному и тому же явлению даже поражает то, что один из главных создателей еврейской самообороны в Одессе

далёк от панегирической патетики, а подчас даже весьма ироничен в изображении собравшихся в «арсенале на Молдаванке», тогда как довольно далёкий от этого движения — и по возрасту, и характерологически — создатель «Одесских рассказов» уважительно пишет о людях, вроде сына угольщика, и устами служки Арье-Лейба не без восхищения повествует о «похоронах» Тартаковского.

Близкими темами и сходными человеческими типами не ограничиваются схождения между книгами двух очень разных писателей. Учитывая, что общей почвой для них был не только один город, его прошлое и настоящее, но и своеобразный одесский фольклор со своим речевым жаргоном, не следует удивляться встречающимся в их произведениях одним и тем же или схожим словам и фразеологическим оборотам. Ограничимся несколькими примерами.

Сохранились воспоминания, как зимой 1905 г. в Санкт-Петербурге во время одного из митингов протеста против погромов на юге империи вспыхнула резкая перебранка между марксистской и сионистской частями аудитории, а утихомирить разыгравшиеся страсти смог только Жаботинский, поднятый над толпой двумя рослыми и сильными студентами; одним из них был некто Виктор Кугель по прозвищу «полтора еврея»²⁵. Это прозвище, лишь несколько видоизменённое, встречается и в рассказе Бабеля «Как это делалось в Одессе»: «Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налётов» (48). Пусть в прозвище Тартаковского и вложена иная коннотация («ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского»), но совпадение *определений* всё равно бросается в глаза, наводя на мысль о близости фразеологического источника.

В девятой главе романа «Пятеро» Анна Михайловна Мильгром говорит повествователю: «За кого Маруся пойдёт замуж, я давно знаю, и она знает; и вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше...»²⁶. Служка Арье-Лейб у Бабеля («Как это делалось в Одессе») — человек с более низкой социальной ступени, но и в его речи — в начале рассказа и в самом конце его — есть похожий образ:

«...Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень...» (46);

«...Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?...» (59).

О своей бабушке Бабель пишет в рассказе «Детство. У бабушки»: «По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой...» (103). Мать Владимира Жаботинского была явно более образованна, знала древнееврейский, говорила по-немецки, даже читала немецких писателей в оригинале; правда, лишь после замужества стала учить русский, и о её владении этим языком писатель вспоминал в своих мемуарах: «...она производила

решительные разрушения в русской грамматике...»²⁷. Что же касается людей одного и того же социального уровня, как Мотя Банабак у Жаботинского и молдаванские налётчики у Бабеля, то в их речи встречаются и общие, *одесские*, словечки и обороты, есть и многие следы «решительных разрушений в русской грамматике».

Не раз справедливо подмечалось, что «слава Бабеля как писателя в значительной мере основывалась на его преобладающем внимании к проблемам стиля»²⁸. Об источниках стилистического своеобразия бабелевской прозы существует уже большая литература. Один из первых вдумчивых критиков И. Бабеля полагал, что стилистический колорит «Одесских рассказов» связан с творчеством Семёна Юшкевича²⁹. Мнение это не прижилось: стиль *орнаментальной* прозы Бабеля, поражающий и сегодня своей неповторимостью, трудно объяснить какой-либо одной традицией, тем более — не столь уж влиятельной. Если говорить об источниках этого стиля, то их обнаруживается множество — от Ветхого Завета до реальной Одессы начала XX века с её фольклором и своеобразным наречием. Из того же, одесского, источника в значительной степени черпал и автор романа «Пятеро», но при всех частных схождениях нельзя упускать из виду существенную разницу между их подходом к близкому жизненному и словесному материалу.

Даже в воссоздании городского колорита Одессы оба писателя идут в чём-то сходными, но в чём-то и очень различными путями. Хотя цикл новелл Бабеля и назван «Одесские рассказы», однако в названиях отдельных произведений Одесса никак не присутствует. Париж заявлен в названии одного из рассказов («Улица Данте»), а главный топос, Одесса, — нет. У Жаботинского же Одесса довольно густо представлена даже в названиях глав романа «Пятеро»: «Вдоль по Дерибасовской», «Арсенал на Молдаванке», «Исповедальня на Ланжероне» и др. Может быть, сыграла свою роль ностальгия писателя, которому было ясно: «...уж никогда не выдать мне Одессы...»³⁰. Не менее важным основанием указанного различия была значительно большая роль мифологизирующего начала в прозе Бабеля в сравнении с его старшим по возрасту писателем-земляком.

Это проявляется даже в оценках города в целом. «Потешный был город, — не без придирчивости, однако с нежностью пишет Жаботинский в финале романа «Пятеро», — но и смех — тоже ласка»³¹. «Одесса — очень скверный город», — таким ироническим признанием открывается очерк Бабеля «Одесса». Впрочем, претензии писателя относятся исключительно к своеобразию русской речи в «этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи» (14).

Удивительно, что в менее красочном и достаточно рационалистичном описании Жаботинского часто встречаются городские пейзажи, а в орнаментальной прозе Бабеля они — редкость. К примеру, есть у него в «Листках об Одессе» страничка, посвящённая городскому театру. Пей-

зажная зарисовка здесь лишь одна; она не составляет даже одной целой фразы и выглядит едва ли не случайной: «В хорошую погоду, когда сияет наше солнце, пахнущее морем из Карантинной гавани и цветами с Екатерининской...» (25). Бабеля более всего интересуют не виды городских улиц, не краски одесской природы, а типы, населяющие эти улицы и переулки: барышники, шансонетки, уличные мальчишки... Околотеатральный пейзаж представлен почти столь же лаконично в концовке рассказа «Ди Грассо», где герой-повествователь, мальчик «увидел уходящие ввысь колонны Думы, освещённую листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным» (199). Впрочем, такое, достаточно развёрнутое, описание в прозе Бабеля представляет собою скорее исключение, нежели правило.

В рассказе «Король» свадебное пиршество во дворе выписано в сочных деталях, с фламандской пышностью, тогда как реалии городской топографии (улицы Госпитальная, Костецкая и Софийская, Шестнадцатая станция Большого Фонтана) только упоминаются и фигурируют как сухие обозначения мест тех или иных событий. В рассказе «Отец» Прохоровская улица, где живёт герой произведения Фроим Грач, вообще не имеет никакого описания, а фиксируется лишь в качестве места, связанного с персонажами, как и местечко Тульчин, Привозная площадь, Дальницкая улица, русское кладбище. В пространном (по бабелевским меркам) рассказе «Конец богадельни» с мельчайшими подробностями выписаны живописные кладбищенские типы, а короткая пейзажная зарисовка встречается только однажды: «Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах...» (141). Да и эта словесная картинка обязана своим появлением в тексте разве только тому факту, что «каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой».

Последователи биографического метода в литературоведении смогли бы поискать ответ на вопрос о причинах скудости городского пейзажа у Бабеля, обратившись к его рассказу «Пробуждение». Там четырнадцатилетнему (автобиографическому) герою, с детства питающему страсть к сочинительству, ставит диагноз старый добрый одессит, корректор Ефим Никитич Смолич: «...Тебе не хватает чувства природы. Твои пейзажи похожи на описание декораций...» (167). Всё, что известно подростку с Молдаванки об одесском городском пейзаже, — это то, что «Дерибасовская и Греческая обсажены акациями...» (168). Впрочем, мысль о «побеге» из привычной среды и в этом рассказе отодвигает на второй план возникший было в сознании мальчика, но недолговечный интерес к живой природе.

Автор романа «Пятеро», которого как профессионального журналиста также в первую очередь интересуют человеческие типы, значительно более внимателен к пейзажам родного города. Уже в третьей главе боль-

шой абзац посвящён восторженному описанию Думской площади и живописного уголка, примыкающего к месту собраний Литературно-Артистического общества. Вспомнив в начале шестой главы о том, что Мильгромы жили летом на Среднем Фонтане, автор посвящает этой части города целую страницу, открывающуюся словами: «Если бы мне было поручено написать монографию о десятой станции, я бы начал издавека, и с сюжета чрезвычайно поэтического...»³².

Глава десятая («Вдоль по Дерибасовской») открывается развёрнутым, образным описанием «этой королевы всех улиц мира сего» и примыкающих к ней одесских улиц — «фрейлин королевы»³³. Заслуживает внимания и словесная картина одесского берега в главе четырнадцатой, и пейзаж Ланжерона в пятнадцатой главе, и лаконичная зарисовка одесского порта в девятнадцатой главе, как и некоторые другие места, буквально дышащие искренней влюблённостью Жаботинского в город своего детства и юности.

Очень разное место видов города в прозе двух писателей позволяет заметить и некоторые, причём немаловажные, различия в их повествовательной манере. Диалог персонажей и авторская речь сочетаются и *сопоставляются* в их книгах принципиально по-разному. Это видно даже по характеру использования «одессизмов» — специфически одесских слов и выражений. Страсть к образному одесскому слову проявилась у обоих писателей, однако далеко не одинаково. Для рассказчика в романе «Пятеро» это в какой-то мере *чужое слово*; оно выдёргивается из живого разговора, иногда «пробуется на зуб», смакуется и при этом продолжает восприниматься как мастерски вписанное в текст, но *чужое*. У Бабея оно органичнее вписывается в текст, оно — своё, родное, и употребляется очень часто.

Среди героев Жаботинского не так уж много носителей «наречия Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада», а некоторые персонажи (например, Серёжа) употребляют эти слова с целью эмпазиса или для юмористической окраски речи. Изредка вставляет такие словечки в свой рассказ и сам повествователь — образованный человек, «подлинной страстью» которого, по собственному его признанию, «всегда была лингвистика». Правда, он с таким же успехом может вставить в рассказ, как и в диалог персонажей, свои собственные неологизмы («кавалерственный», «словокачка» и пр.), не имеющие прямого отношения к одесскому жаргону, но выполняющие сходные функции, нарушая как бы заданное в первой главе стилевое однообразие.

В тех рассказах Бабея об Одессе, где повествование ведётся от лица автора («Король», «Отец» и некоторые другие), есть довольно резкий контраст между авторским словом и речью персонажей, пересыпанной жаргонными словечками и оборотами, появившимися на свет в результате чрезмерно активной интерференции трёх, по крайней мере, языков — русского,

украинского и языка идиш. Если Жаботинский время от времени *цитировал* одесское слово, то Бабель, по выражению В.Б.Шкловского, «превращал в литературу устную традицию города»³⁴. Во многих произведениях писателя диалог явно превалирует над авторской речью не только и не столько в количественном отношении: автор как будто вспоминает, что он сродни своим героям хотя бы по мес у рождения, и его речь местами слегка уподобляется речи персонажей. Писатель и сам знал за собой особое пристрастие к диалогу; даже в тех рассказах, которые пятнадцатилетний Бабель писал по-французски, по его признанию, описания и размышления у него «выходили бесцветно», а удавался только диалог (10). Совсем не случайно некоторые новеллы писателя носят откровенно *сказовый* характер.

Для сказовых новелл потребовался и особый повествователь — более близкий, чем Бабель-Люттов, к кругу изображаемых героев. В рассказе «Как это делалось в Одессе» основным повествователем выступает си-нагогальный служака Арье-Лейб, в рассказе «Справедливость в скобках» — мелкий маклер («лапетут», как сказал бы Абрам Моисеевич из романа Жаботинского) и «наводчик» Цудечкис. Впрочем, и в рассказах, написанных от лица автора, с этой средой в какой-то мере генетически связанного, но уже достаточно дистанцировавшегося от неё, сказовое начало уверенно заявляет о себе, вытесняя нейтральное авторское слово на периферию. Чеслав Андрушко тонко подметил жанровую связь «Одесских рассказов» с устной традицией Агады³⁵, тогда как бытовая фактура выписана Бабелем с точным знанием реальной жизни одесской Молдаванки.

В романе Жаботинского соотношение авторского слова и диалога совсем иное. Здесь диалог не занимает так много места; нет, он не вытеснен совершенно повествованием, в некоторых главах диалогические фрагменты достаточно представительны, но всё же совершенно очевидно доминирует в книге точка зрения рассказчика — человека образованного, интеллигентного и очень далёкого как от «мира *делов*», так и от эпизодических персонажей, вроде Моти Банабака, с их речевым своеобразием. Популярнейший публицист юга России, он, конечно же, более рафинирован и профессионален, чем, например, фельетонист «Одесских известий» Саша Светлов из рассказа Бабея «Карл-Янкель», и дистанция между ним и действующими лицами аккуратно соблюдается в романе, вне зависимости от «соучастия» рассказчика в фабульных событиях.

По своей жизненной позиции, по степени сопряжённости с цепью этих событий повествователь в романе «Пятеро» напоминает Хроникёра из «Бесов» Достоевского. Свидетель, а затем и летописец событий, внимательный, хотя подчас и не слишком проникательный, хроникёр у Жаботинского выполняет функцию посредника между героями и читателем, но также — между героями и писателем. Правда, дистанция, отделяющая рассказчика от самого романиста, иногда превращается в такой маленький зазор, который можно и не разглядеть.

В личностях автора романа и повествователя очень много биографических совпадений: место и время действия, профессия, круг общения, некоторые взгляды на искусство, даже стихотворные строчки «общего» сочинения. Всё это создаёт более определённо — в разных аспектах — выписанный облик рассказчика-хроникёра, чего никак не скажешь о не имеющем, в отличие от героя «Конармии», имени повествователе «Одесских рассказов», индивидуальность которого воссоздана сугубо стиливыми средствами. Хроникёр у Жаботинского своей *манерой рассказывания* демифологизирует изображаемый мир, анализируя и внимательно разглядывая его в деталях. Бабелевский безымянный повествователь более подходит на роль мифотворца, а точнее — на роль медиатора между автором-мифотворцем и воспроизведённой им действительностью.

* * *

Возвращаясь к вопросу о биографических параллелях, нельзя, по-видимому, пройти мимо ещё одного, совсем не весёлого совпадения: оба писателя ушли из жизни в одном и том же — 1940 году. Репрессированный органами НКВД Бабель был расстрелян в январе, а Жаботинский, находясь летом 1940 г. в Соединённых Штатах Америки и агитируя там за формирование еврейского воинского соединения, призванного сражаться в составе всемирной антифашистской коалиции, умер в начале августа от разрыва сердца. И ещё одно печальное совпадение: на их родине (выражаясь в современных понятиях — *на широком русскоязычном культурном пространстве*) имя и творчество каждого из них были в течение определённого времени табуированы. Бабель не издавался, не шёл на сцене и даже не упоминался около двадцати лет — со времени ареста в 1939 г. до выхода одностомника его произведений в 1957 г. О Жаботинском постарались «забыть» ещё раньше — в начале 1920-х годов, а вспомнили ещё позднее — в последнее десятилетие XX века.

Две разные писательские судьбы, и столько совпадений в восприятии их личностей и творчества на родине! И того, и другого ревнители «самой передовой идеологии» фактически пытались вывести за скобки русской литературы прошлого столетия, и как будто неплохо преуспели в том, но... лишь на какой-то срок. Бабель, насильственно вырванный из контекста российской словесности, триумфально возвратился туда после двух десятилетий искусственно «организованного» забвения, и занял своё, никем не занятое, видное место. Осмысление места Жаботинского в русской литературе XX века крепко запоздало и, по сути, только начинается. Это место можно адекватно оценить, лишь прояснив те отношения — контактные и типологические — которые связывают его лучшие книги с творчеством писателей-современников, одним из которых и был Исаак Бабель.

Примечания

¹См., например: *Encyclopaedia Judaica* in 16 vols. Vol. 4. — N.Y.: The Macmillan Co. — 1971. — P. 21-22.

²В начале 1920-х годов органы ВЧК в своих служебных циркулярах, а позднее и советская пропаганда обвиняли Жаботинского в «сговоре» с Петлюрой. При этом умышленно извращались факты действительных переговоров В.Жаботинского с представителем УНР Максимом Славинским, прошедших в августе 1921 г. в Праге. Об этих переговорах см. подробнее: Shmuel Katz. *Lone Wolf. A Biography of Vladimir (Ze'ev) Jabotinsky*. In 2 vols. Vol. 1. — N.Y.: Barricade Books Inc., 1996. — Ch. 43.

³Цит. по: Поварцов С. Причина смерти — расстрел: хроника последних дней Исаака Бабеля. — М.: Терра, 1996. — С. 147.

⁴Знакомство Жаботинского с одесситом по происхождению, сионистом Иосифом Фишером, в эмиграции жившим в Париже, сомнений не вызывает. На Седьмой Всероссийской сионистской конференции в мае 1917 г. последний входил в небольшую группу делегатов, полемизировавших с подавляющим большинством и выразивших поддержку деятельности Жаботинского по созданию Еврейского легиона в составе Британской армии. Позднее, в 1919 г., Фишер опубликовал в газете «Еврейская мысль» статью «Кто был прав?», в которой высоко оценил усилия Жаботинского в годы первой мировой войны. (См.: Joseph B.Schechtman. *The Life and Time of Vladimir Jabotinsky*. In 2 vols. — Vol. 1. *Rebel and Statesman*. — Silver Spring, MD: Eshel Books, 1986. — P. 239-241).

⁵Выражение автора новейшей беллетристической повести о Бабеле (*Маркиш Д.* Статья Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля // *Октябрь*. 2001. № 1-2). Во второй части своей повести Д.Маркиш даже воспроизводит встречу двух одесситов в парижском доме третьего — их общего знакомого. Бабель фигурирует в повести как Иуда Гросман, Фишер — как Рувим Освишер, и только В.Е.Жаботинскому оставлено его собственное имя. О Жаботинском вспоминает главный герой и в конце повести, находясь под следствием на Лубянке.

⁶Огульные обвинения такого рода по адресу ревизионистского крыла выдвигали и некоторые левосионистские лидеры (включая главного оппонента Жаботинского — искушённого политика Давида Бен Гуриона), вызвав прямую и резкую отповедь со стороны лидера ревизионистов. См., напр.: *The Political and Social Philosophy of Ze'ev Jabotinsky*. — London; Portland: Valentin Mitchell, 1999. — P. 61-62, 65.

⁷Эта оценка содержится в письме Горького О.О.Грузенбергу от 20 сентября 1913 г. См.: *Грузенберг О.О.* Очерки и речи. — New York, 1944. — С. 229.

⁸Впоследствии Жаботинский вспоминал об этой статье в своей автобиографии. См.: *Владимир (Зеев) Жаботинский*. Повесть моих дней. — Иерусалим: Библиотека-Алия, 1989. С. 31-32.

⁹*Бабель И.* Одесские рассказы. Одесса: Optimum, 2001. — С. 205. (Дальнейшие ссылки на произведения Бабеля, кроме специально оговоренных случаев, даются по этому изданию в тексте статьи; страницы указываются в скобках).

- ¹⁰См.: Жаботинский В. Я — сын своей поры. (Стихотворения и переводы). — Одесса: Друк, 2001. — С. 18-19.
- ¹¹Владимир (Зеев) Жаботинский. Повесть моих дней, с. 11.
- ¹²Жаботинский В. Пятеро. — Одесса: Optimum, 2000. — С. 186.
- ¹³См. подробнее: Биск А. Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое общество) // «Дом князя Гагарина...» Сб. статей и публикаций. Вып. 1. — Одесса: «Афина», 1997. — С. 134-161.
- ¹⁴«Наиболее серьёзным был погром в Одессе с более чем 300 убитых и тысячами раненых...» (Encyclopaedia Judaica, vol. 13, p. 697).
- ¹⁵Жаботинский В. Пятеро, с. 59.
- ¹⁶Czesław Andrzejko. Жизнеописание Бабеля, Исаака Эммануиловича. — Poznań, 1993. — С. 83.
- ¹⁷В рассказе «бытописателя босяков и порта» (по определению Жаботинского) Лазаря Кармена «Под рождество» *банабаками* называет один из персонажей «грузин и имеретин». См.: Кармен Л.О. Рассказы. М.: Худож. лит., 1977. — С. 60.
- ¹⁸См. подробнее: Александров Р. Человек с Молдаванки // Исаак Бабель, цит. соч., с. 304-332.
- ¹⁹Маркиш Ш. Бабель и другие. — Киев: «Михаил Шиголь», 1996. — С. 22.
- ²⁰Владимир Жаботинский. Пятеро, с. 135.
- ²¹Исаак Бабель. Как это делалось в Одессе. — СПб: Кристалл, 2001. — С. 24-25.
- ²²Владимир (Зеев) Жаботинский. Повесть моих дней, с. 47.
- ²³Там же. С. 45.
- ²⁴Там же. С. 47.
- ²⁵Shmuel Katz, op. cit, p. 78.
- ²⁶Владимир Жаботинский. Пятеро. С. 58.
- ²⁷Владимир (Зеев) Жаботинский. Повесть моих дней, с. 6.
- ²⁸J.J. Van Baak. The Place of Space in Narration. Amsterdam: Rodopi, 1983. — P. 134.
- ²⁹Лезнев А. Литературные будни. — М., 1929. — С. 266.
- ³⁰Владимир Жаботинский. Пятеро, с. 186.
- ³¹Там же. С. 190.
- ³²Там же. С. 33.
- ³³Там же, С. 59-60.
- ³⁴Шкловский В. Гамбургский счёт. — М.: Сов. писатель, 1990. — С. 474.
- ³⁵Czesław Andrzejko, op. cit., s. 67-68.